

ФАКТЫ И ЗНАКИ

Исследования по семиотике истории

Под редакцией

Б. А. Успенского и Ф. Б. Успенского

Выпуск I



ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКИХ КУЛЬТУР
МОСКВА 2008

ББК 83.3(2Рос=Рус)
Ф 18

Ф 18 Факты и знаки: Исследования по семиотике истории.
Вып. I / Под ред. Б. А. Успенского и Ф. Б. Успенского. —
М.: Языки славянских культур, 2008. — 272 с., ил.

ISBN 978-5-9551-0264-1

Авторы предлагаемого издания, — в большинстве своем известные специалисты в области классической филологии, славистики, русистики и диахронического языкознания, — выступают в несколько неожиданной для читательской аудитории ипостаси: предметом их исследования являются исторические факты, тексты и документы, так или иначе, оказавшие заметное воздействие на жизнь и развитие языка. Тематическая широта издания определяется семиотическим подходом, когда события прошлого рассматриваются в контексте истории культуры, т. е. меняющегося мировоззрения. Этот подход предполагает реконструкцию системы представлений, обуславливающих как восприятие тех или иных событий в данном обществе, так и реакцию на эти события, являющуюся непосредственным импульсом исторического процесса. Исследователя интересуют в этом случае причинно-следственные связи на том уровне, который ближайшим образом — непосредственно, а не опосредованно — соотносен с событийным планом. Таким образом, авторы сборника пытаются увидеть исторический процесс глазами его участников, сознательно отвлекаясь от объективистской историографической традиции, ретроспективно описывающей события с внешней к ним точки зрения.

ББК 83.3

Электронная версия данного издания является собственностью издательства, и ее распространение без согласия издательства запрещается.

ISBN 978-5-9551-0264-1

© Авторы, 2008

© Языки славянских культур, 2008

Содержание

<i>Б. А. Успенский, Ф. Б. Успенский.</i> О семиотике истории (Вместо предисловия)	7
<i>Е. Г. Рабинович.</i> Заметки о номинации	9
<i>М. М. Сокольская.</i> <i>Redeunt Saturnia regna</i> : идея возвращения Золотого века в IV эклоге Вергилия	25
<i>Анджей Поппэ.</i> Владимир Святой: У истоков церковного прослав- ления	40
<i>А. Ф. Литвина, Ф. Б. Успенский.</i> Время жить и время умирать: Текстология древнейших русских летописей или княжеская семейная традиция?	108
<i>Б. А. Успенский.</i> Право и религия в Московской Руси	122
<i>Майкл С. Флайер.</i> Семиотика веры в Новгороде XV века: Анализ четырехчастной иконы	180
<i>Е. В. Белякова.</i> Первые опыты русской церковной историографии: К изучению Известия о поставлении патриарха Филарета и Сказания об учреждении патриаршества	208
<i>Ольга Страхова.</i> Еще раз о деле патриарха Никона: к истории титула <i>великий государь</i>	225
<i>В. М. Живов.</i> Император Траян, девица Фальконилла и провонявший монах: их приключения в России XVIII века	245
<i>Список сокращений</i>	269

О семиотике истории (Вместо предисловия)

Когда Леопольд фон Ранке в начале XIX в. заявил, что задача историка — показать, как действительно происходили события («wie es eigentlich gewesen»), его слова получили необыкновенно широкий резонанс и стали вехой в развитии исторической науки. Тезис Ранке изначально был направлен против морализирующего подхода к историческим событиям, однако он был осмыслен в плане эмпиризма и позитивизма — как необходимость обращения к источникам и отказ от каких бы то ни было концептуальных схем, определяющих выбор исторических фактов и их интерпретацию. Такая постановка вопроса произвела сильное впечатление на историков, пока они не осознали, что не всегда могут ответить на поставленный вопрос; иначе говоря, они не всегда могут определить — даже и при наличии источников, — «wie es eigentlich gewesen war».

В самом деле: что такое действительность? Что вообще имеется в виду под действительными событиями и где граница между действительностью и мифом (вымыслом)? Эти философские вопросы имеют самое прямое отношение к трактовке исторических событий.

Вот, например, хроникер сообщает нам, что в таком-то году в таком-то месте случилось чудо. Должны ли мы думать, что чудо действительно произошло («ist eigentlich gewesen»)? Очевидным образом это зависит от нашего мировоззрения. Но так ли уж важно наше мировоззрение для понимания исторического процесса? Куда более существенно, что современники описываемых событий верили в чудо и в своем поведении основывались на таком именно понимании происходящего (даже если с нашей сегодняшней точки зрения это понимание является ложным). Ведь материал историка — не события как таковые, а описания этих событий: так или иначе, события неизбежно получают интерпретацию того, кто их зарегистрировал.

Такая постановка вопроса оказывается более реалистичной: она связывает события, которые служат первичным материалом для историка, т. е. историю как «res gestae», с историческим описанием — с «historia rerum gestarum». В исторической действительности факты («res gestae») первичны, а описание («historia rerum gestarum») вторично: со-

бытия порождают описания. Для историка, напротив, первичны описания, и он должен реконструировать факты: описания порождают факты. Сама проблема истинности или ложности описываемых событий является прежде всего проблемой участников этих событий или во всяком случае тех людей, от которых мы о них знаем. Это очень четко выразил в свое время Снорри Стурлусон в Прологе к «Кругу земному»: «В этой книге я велел записать древние рассказы о правителях, которые были в Северных Странах (...), как я их слышал от мудрых людей, а также некоторые из родословных, как они были мне рассказаны (...). И хотя сами мы не знаем, правда ли эти рассказы, но мы знаем точно, что мудрые люди древности считали их правдой».

Семиотический подход рассматривает события прошлого в контексте истории культуры, т. е. меняющегося мировоззрения. Этот подход предполагает реконструкцию системы представлений, обуславливающих как восприятие тех или иных событий в данном обществе, так и реакцию на эти события, являющуюся непосредственным импульсом исторического процесса. Историка интересуют в этом случае причинно-следственные связи на том уровне, который ближайшим образом — непосредственно, а не опосредованно — соотнесен с событийным планом.

Таким образом, историк пытается увидеть исторический процесс глазами его участников, сознательно отвлекаясь от объективистской историографической традиции, ретроспективно описывающей события с внешней к ним точки зрения. История как таковая (история событий, описание исторического процесса) оказывается связанной при этом с историей культуры: проблемы истории, филологии и культурной антропологии предстают здесь как взаимосвязанные.

Б. А. Успенский, Ф. Б. Успенский

Е. Г. РАБИНОВИЧ

Заметки о номинации*

Присущая современной науке специализация порой приводит не только к естественному разделению областей и методов исследования, но и к своеобразному разделению материала — поэтому бывает, что слово, попавшее в разряд обсуждаемых в качестве, например, заимствования или в качестве термина, иначе уже не обсуждается. Ниже предлагается три очерка, каждый из которых содержит анализ одного такого слова. Все три греческие, все три не раз обсуждались, но всегда с оптимистической презумпцией, что сам по себе вопрос ясен, остается дать на него однозначный ответ. При этом во всех трех случаях культурная мотивировка выбора названия или имени оставалась в небрежении — этот пробел и призваны заполнить публикуемые заметки.

1. ΕΥΡΩΠΗ

Границы материков были обозначены в VI веке до н. э. ионийскими географами, вероятнее всего Гекатеем Милетским, так что и названия материков обычно приписываются Гекатею — в дальнейшем тот, кто дал материкам имена, для удобства будет называться Гекатеем. Двумя или тремя поколениями позднее Геродот, сам же навеки мифологизировавший в первой главе своего труда вражду Европы и Азии, заметил, что не понимает, почему материк называется «Европа» и почему граница его с Азией проходит по Фасису (Hdt. IV.45). Действительно, евразийский континент можно разделять на части по-разному, но это разделение всегда условно, и в данном случае недоумение Геродота разрешается не исправлением границы, а признанием ее отсутствия на физической карте мира, — что же до названия, в настоящее время у слова *εὐρώπη* имеются две общеизвестные этимологии, семитическая и греческая. Семитическая сближает *εὐρώπη* с аккадским *erebu* ‘мрак’, а тем самым и с предположительно заимствованным греческим *ἔρεβος* с тем же значением; косвенными подтверждениями этой этимология служат как про-

* Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ 07-04-00286а.

типовоставление «закатной» Европы «рассветной» Азии, производимой, соответственно, от семитического *asu*, так и лексикон Гесихия (поздний, но нередко отражающий гораздо более ранние традиции), где εὐρώπη толкуется как ἡ χώρα τῆς δύσεως σκοτείνη ‘темная закатная страна’, — а ведь если смотреть на Европу из Ионии, она как раз и окажется в темноте, на далеком северо-западе¹. Другое дело, что слово εὐρώπη на *erebu* и на ἔρεβος не очень-то похоже, а главное, обладает по видимости внятной внутренней формой и может пониматься как нередкое в греческом языке двукорневое образование (от εὐρύς и ὦψ) со значением ‘широковидная’ или ‘широколикая’. Эта этимология поддержана авторитетом энциклопедии Паули-Виссова, где εὐρώψ сближается с прилагательными типа γλαυκῶψ²; да и у Гесиода в перечне океанид названа Европа (Theog. 357; рядом океанида Асия), в Беотии существовал культ Деметры-Европы (Paus. IX.39.4), у Еврипида говорится о «широкой» или «с широким зевом» бездне (χάσμα τ’ εὐρωπον — Iph. Taur. 626), а еще был македонский город Εὐρωπός (Thuc. III.100.3), etc. — и для семитического заимствования всего этого многовато, хотя и греческую «широковидность» подтверждает не слишком надежно, так что Фриск без энтузиазма отзывается об обеих этимологиях, ни одну не принимая, хотя прямо и не отвергая³.

Всё это, однако, касается слова *Европа*, которое существовало до Гекатея и — вне зависимости от происхождения — не могло быть названием континента, коль скоро необходимость найти имена только что осмысленным географическим объектам явилась, как сказано, лишь в VI веке⁴. Порожденная этой необходимостью номинация отличалась

¹ О семитическом происхождении εὐρώπη см.: H. Lewy. Die semitischen Fremdwörter im Griechischen. Berlin 1895; W. F. Albright. The Etymology of Še’ōl // The American Journal of Semitic Languages and Literatures, vol. 34 (1918), № 3, p. 209–210, и др. Эта шаткая этимология принадлежит эпохе «света с Востока», при том что не совсем ясно, какую область называли так древние семиты, коль скоро понятие континента явилось лишь у ионийских географов. Что до предположения о семитическом происхождении ἄσια, оно и вовсе не согласуется с логикой, так как эта область лежит к западу от населенных семитами территорий; другое дело, что область с хеттолувийским названием *assuwa* действительно существовала, находилась в Малой Азии и при эллинизации этого региона предположительно стала называться ἄσια (возможно даже, что отсюда и гомеровский «асийский луг» (Il. II. 461) — см.: É. Boisacq. Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Heidelberg; Paris, 1916).

² RE. Suppl.-Bd. 6. Stuttgart, 1935, S. 1298 (H. Berger).

³ H. Erisk. Griechisches etymologische Wörterbuch. Bd. I. Heidelberg, 1960.

⁴ Так, Шантрен в свой словарь статью ἄσια вообще не включает, а этимологию εὐρώπη считает неизвестной, однако замечает, что имя дочери Агенора и название

последовательностью, все три материка были названы по своим средиземноморским «фасадом»: Ливия по Ливии, стране к западу от Египта (впоследствии *Africa propria*), Азия по (Малой) Азии (впоследствии *Asia propria*), Европа по обширной области балканской Греции севернее Пелопоннеса (Hymn. Nom. III.250–252; cf. 290–292); понятия *Europa propria* не существует, но анализ гимна показывает, что древняя Европа тянулась от Олимпа на севере до южной оконечности Евбеи⁵. Однако все эти большие приморские страны, чьи имена ионийские ученые дали материкам, сами приобрели свои названия в результате расширения значения топонимов — как Эллада, бывшая когда-то маленькой областью на севере Греции⁶, как Ливия, которая у Гомера всего лишь соседняя с Финикией страна (Od. IV.85–89; XIV.295–296), а возможно, и как Азия близ Каистра (см. примеч. 1). Иначе говоря, этимология всех трех древних топонимов, знаем мы ее или нет, не связана ни с относительно поздними названиями материков, ни даже с названиями их «фасадом», так как первоначально все три топонима были названиями небольших (или совсем малых) стран, затем их значение расширилось — и лишь затем эти, уже приобретшие расширенное значение, топонимы были избраны в качестве названий материков. Важно, однако, что в последнем случае то был сознательный выбор, который следует понимать так же, как любое переносное словоупотребление, чьи мотивировки в авторском тексте обычно могут быть (хотя бы гипотетически) прослежены. Легче всего показать это на примере Ливии.

Ливией называлась приморская область Африки к западу от Египта, так что имя ее материка годилось, но теоретически возможны были и другие названия, например, по Киренаике, тоже обширной примор-

материка могут иметь различное происхождение (*P. Chantraine. Dictionnaire étymologique de la langue grecque. T. 1. Paris, 1968; s. v. ἐρώπη*), — тем самым не принимая во внимание, что ни Европа, ни Азия, ни Ливия первоначально не были и не могли быть названиями материков, так как все эти топонимы древние, а понятие о материках, напротив, относительно позднее.

⁵ Подробнее см.: *Е. Г. Рабинович. Незримая граница // Евразийское пространство: Звук, слово, образ. М., 2003, с. 64–83.*

⁶ Гомер помещает Элладу в Фессалии, во Фтиотиде (II.П.683; IX.395), Аристотель — в Эпире, близ Додоны (Meteor. 352 а 34); при Аристотеле *Элладой* давно называлась вся балканская Греция вместе с островами, так как использует этот топоним уже Гесиод (Opes. 654). Расширение значения топонимов было естественным процессом, продолжавшимся и позднее, параллельно произвольному наречению: так, в римское время название *Ахайя* было выбрано для Греции римской администрацией, а расширение названия *Аркадия* почти на весь центральный Пелопоннес произошло само собой — пусть в контексте исторических и иных обстоятельств.

ской области к западу от Ливии. Однако из всех приморских африканских стран только Ливия дважды (и один раз с похвалой) упомянута в «Одиссее» — и так этот материк получил имя не просто в соответствии с избранной номинационной стратегией, по средиземноморскому «фасаду», но, вероятно, еще и в духе сложившейся традиции при всяком случае ссылаться на авторитет Гомера. Правда, если считать опору на Гомера важной мотивировкой, Азия и Европа могли бы назваться, например, *μηροίη* (II. III.401; IV.142; XVIII.291) и *ἡμαθίη* (II. XIV.226): Мения и Эмафия в «Илиаде» упоминаются, а гимн к Аполлону, пусть в VI веке еще приписываемый Гомеру, трудно сопоставить по престижу и по известности с «Илиадой» и «Одиссеей»; что же до связи с Азией «азиатского луга», она и вовсе трудноуловима. Значит, при наречении Европы и Азии номинационная стратегия сохраняла свой «фасадный» принцип, но авторитет Гомера не был в данном случае главной опорой — хотя с известной натяжкой связать «Европу» (через гимн) и «Азию» (через луг) с гомеровскими поэмами возможно, лучше поискать этому выбору дополнительное обоснование.

Вот тут-то и могла оказаться актуальной осязаемая звуковая ассоциированность «Азии» с семитическим «рассветом» (при том, что относительно Ионии Азия действительно находится на востоке) и хуже осязаемая на слух, но рядом с Азией все-таки заметная ассоциированность Европы с семитическим «закатом». Разумеется, это никоим образом не свидетельствует в пользу семитического происхождения *εὐρώπη* и *ἄσία*, вернее говорить о параллельных процессах: любая этимология основана на звуковом сходстве, зачастую отдаленном или мнимом, и это звуковое сходство Гекатей мог ощущать не хуже, чем позднейшие этимологи⁷, — а значит, оно могло служить дополнительной мотивировкой при наречении двух северных материков.

Научное доказательство не может пренебрегать законом исключенного третьего: так, для этимолога *εὐρώπη* либо восходит к семитическому корню, либо *не* восходит. Однако в многоаспектном процессе авторской номинации выбор подходящего слова нередко мотивирован не столь последовательными ассоциациями. Показательный и доступный при-

⁷ Греки редко знали какие-либо языки, кроме греческого, а главное, обычно не принимали в расчет их существование. Тем не менее, Милет — торговый город, где контакты с финикийцами всегда были оживленными, а у персов, долгое время контролировавших Ионию, был в употреблении «имперский арамейский», так что некоторый набор ходовых финикийских (и/или арамейских) слов у ионийских греков не мог не быть на слуху — и названия стран света несомненно относятся к ходовым словам.

мер — политкоррекция языка, чаще всего сводящаяся к эфемизации, то есть тяготеющая в основном к описательности, но представляющая также занимательные образцы словотворчества. Примером такого словотворчества является, в частности, трансформация слов, где *man* заменяется на *fem* на том основании, что соответствующее понятие — «женское» или, по крайней мере, «не мужское». Слова с *man* исправляла только Б. Голдфилд, производя неологизмы вроде «*efemscipation*», «*femstruate*», «*femhole*»⁸, хотя лишь в названии люка *fem* действительно заменяет *man*, между тем как *emancipation* происходит от латинского *manus*, а *menstruation* от латинского же *mens* (и в нем нет никакого *man*), то есть ассоциация со сколь угодно широко понимаемым мужеством тут совершенно неуместна. Сходную тенденцию, однако, можно наблюдать и при замене *he* на *she*, как в предложенном поэтессой Майей Ангелу (Maya Angelou) *shero* вместо *heroine* или в вызвавшем живую полемику, отвергнутом политкорректорами 1980-х, но в конце концов (как свидетельствует, в частности, интернет) вошедшем в широкий обиход *herstory*: при этом *hero* и *heroine* заведомо образованы не от *he*, а в *history* никакого *he* нет, так что *herstory* предполагает предварительное преобразование *history* в *hisstory* — но для политкоррекции довольно, что на слух в перечисленных словах угадываются *man* и *he* или *his*, которые и подлежат искоренению.

Откуда бы ни произошло εὐρώπη, для всякого грека слово это обладало слишком внятной внутренней формой, чтобы казаться чуждым, — но, как сказано, восприятие (а значит, и выбор) имени не всегда согласуется с законом исключенного третьего. «Широковидное» греческое название, оставаясь греческим и понятным, для ионийца, живущего рядом с финикийским языком купцов и «имперским арамейским» персидских чиновников, могло иметь (и скорей всего, имело) некоторый «халдейский» отзвук. Гекатей сознательно подходил к находившемуся в его распоряжении топонимическому ресурсу, и возможность придать названиям северных материков в дополнение к идентифицирующей классифицирующую (запад vs восток) функцию, вероятно, показалась ему привлекательной. Что же до дискуссии об обоснованности обеспечивающих эту функцию ассоциаций, она возникла гораздо позже и касалась, в сущности, не названий материков, а до сих пор спорной истории топонимов, использованных в качестве этих названий.

⁸ *Goldfield Bina. The Efemscipated English Handbook. N. Y., 1983.*

2. ΠΡΟΪΜΙΟΝ

В гомеровском корпусе среди многого, до поры приписывавшегося Гомеру, есть сборник рапсодических гимнов, именуемых ὕμνοι ὁμηροί (hymni homerici), — этот сборник был сформирован александрийскими филологами и от них же получил свое название примерно во II веке до н. э.⁹ Название понятно: *гимн* — песнь во славу бога, мелическая либо рапсодическая, а «гомеровское» — то, что приобщено к гомеровскому корпусу, хотя создано не Гомером; при этом слово *гимн* указывает не на какие-либо структурные особенности текста, но лишь на его прагматику. Гексаметр рапсодических гимнов вместе с обслуживаемым им поэтическим идиомом иногда называют «субэпическим»; это субэпическое койнэ использовалось как авторами гомеровских гимнов, из которых иные жили не намного позже Гесиода, в VII веке до н. э., так и более поздними гимнописцами, иногда безымянными, как орфики, а иногда хорошо известными, как Каллимах или Прокл¹⁰, — и всё это вместе с самими рапсодическими гимнами существовало более тысячи лет. Рапсодические гимны могли быть частью ритуала, но могли исполняться и в повседневных обстоятельствах — с этим согласны практически все исследователи¹¹, ведь и Демодок в «Одиссее» поет свою песню о коварстве Гефеста после пира (Od. VIII.266–267), при том что эта песня очень похожа на рапсодический гимн, да в сущности и является таковым, хотя диалект здесь, конечно, не субэпический, а гомеровский.

Однако песня Демодока представляет собой связанное самостоятельное повествование, а о рапсодических гимнах известно, что в классическую эпоху они назывались προΐμια ‘зачины’ — так называет Фукидид цитируемый им большой гомеровский (тогда еще приписываемый Гомеру) гимн к Аполлону (Thuc. III.104.4–5), так говорит об исполнявшихся Терпандром проэмиях Гераклид Понтийский (Ps.-Plut. De mus. 1131b–1147a), наконец, Сократ перед смертью вспоминает, что не успел сочинить задуманный им проэмий Аполлону (Plat. Phaed. 60d). Рапсодические гимны в древнеклассической литературе цитируются и обсуждаются редко, примеров мало, но нет оснований не верить, что до поры такие гимны часто или всегда назывались проэмиями, то есть ‘зачина-

⁹ Homeric Hymns. Homeric Apocrypha. Lives of Homer / Transl. M. L. West. Cambridge, Mass., 2003, p. 19–21. (Loeb Classical Library, 496).

¹⁰ W. D. Furley, J. M. Bremer. Greek Hymns. Vol. I. Tübingen, 2001, p. 41; A. Hoekstra. The Sub-Epic Stage of the Formulaic Tradition: Studies in the Homeric Hymns to Apollo, to Aphrodite and to Demeter. Amsterdam, 1969.

¹¹ Furley and Bremer. Op. cit., p. 43.

ми' или 'запевами' (οὔμη — любая песнь, неважно, лирическая или эпическая). Большая часть гимнов гомеровского корпуса действительно пригодна для использования в качестве прелюдии к эпической рецитации, однако в этом же корпусе содержатся пространные эпические композиции вроде упомянутого гимна к Аполлону, да и Сократ говорит о своем проэмии как о цельном произведении. Налицо противоречие, которое не привлекало внимания, пока в 1795 году отец «гомеровского вопроса» Фридрих-Август Вольф не объявил в своих «*Prolegomena in Homerum*», что все гомеровские гимны суть проэмии в буквальном смысле слова, просто короткие служили прелюдиями к отдельным героическим былинам, а пространные — ко всему состязанию рапсодов. Через двести лет продолжающаяся разработка истории и теории жанров внезапно вновь оживила интерес к названию *проэмий*, но почти все исследователи оказались согласны с Вольфом и готовы считать зачинами все тридцать три гимна¹² — в итоге закрытый Вольфом вопрос ненадолго приоткрылся лишь для того, чтобы закрыться снова.

Итак, короткие гомеровские «проэмии», годившиеся еще и для использования в качестве молитв (как позднее гимны «Орфея» или Прокла), могли служить прелюдиями к рапсодической рецитации, так что название *проэмий* им подходит, однако же гимны эпические слишком насыщены повествованием, чтобы служить вступлением к другому повествованию, а считать их вслед за Вольфом вступлением к длительному перформансу не позволяет отсутствие свидетельств о таком порядке

¹² Так, Константины и Лалло утверждают, что все гимны «задуманы как прелюдии» (*M. Constantini, J. Lallot. Le prooimion est-il un proème? // Le texte et représentations. Paris, 1987, p. 13–27*); сходные взгляды высказывает Дж. Гарсия, считающий рапсодические гимны поэзией культовой (*J. F. Garcia. Symbolic action in the Homeric Hymns: the theme of recognition // Classical Antiquity, XXI (2002), № 1, p. 5–39*); наконец, недавно сам Вест в предисловии к новому изданию гомеровских гимнов объявил, что все они — прелюдии, тем самым просто повторяя Вольфа (*Homeric Hymns...*, p. 3). Правда, в свое время Ричард Джанко предложил выделить проэмии в особый жанр, где в первой строке имя бога в аккумулятиве, затем эпитет, затем инвокативный глагол, затем наррация, вводимая через артикль в номинативе, затем снова призыв к богу, — однако Джанко тут же оговаривает, что эти правила соблюдаются не слишком строго (*R. Janko. The Structure in the Homeric Hymns: A Study of Genre // Hermes, vol. 109 (1981), p. 9–24*), и верно, так как есть гимны с наррацией и есть без наррации, а различие между повествовательным и неповествовательным текстом базисное. Наконец, Дж. Клэй когда-то причислила пять больших гомеровских гимнов к эпосу (что совершенно правильно), но прочие рапсодические гимны, даже гомеровские, ее не интересовали, и это сделало дальнейшее развитие концепции невозможным (*J. S. Clay. The Politic of Olympus. Form and Meaning in the Major Homeric Hymns. Princeton 1989, p. 267–270*).

состязаний — довольно заметить, что Демодок поет свою песню вовсе не в качестве вступления к чему-то другому, а Гомер несомненно знал, когда и как поют такие песни; словом, теория Вольфа кажется шаткой. Зато ясно, что более тысячи лет существовали два вида рапсодических гимнов, соседствующие уже в гомеровском корпусе: короткие, как у орфиков или Прокла, и повествовательные, как у Каллимаха.

Нужно заметить также, что вскоре после составления александрийцами сборника *ῥυμοὶ διηρητοί*, слово *проэгий* в значении ‘рапсодический гимн’ совершенно выходит из употребления: скажем, у Павсания, тридцать пять раз упоминаются самые разные и в основном именно рапсодические гимны, а *проэгий* — только четыре раза и всегда применительно к вводной части произведения, от него неотделимой, будь то вступление к оде Пиндара или к «Трудам и дням» (Paus. IX.29.2; 30.2; 31.4; X.8.10); позднее, в лексиконе Гесихия, *проэгий* определяется как *ἀρχὴ πάντος λόγου*, а в лексиконе Суды как *πρόλογος* — судя по всему, никто уже не помнил, что так мог называться рапсодический гимн, да еще и эпический. С другой стороны, в конце длинных повествовательных гимнов гомеровского корпуса всегда обещана «другая песня», чего нет ни у Демодока, ни у Каллимаха, более того, даже короткие гомеровские гимны таким обещанием завершаются почти всегда (но все же не всегда) — а между тем как раз это обещание для Вольфа и остальных стало едва ли не главным поводом возводить гимны к неким «настоящим» зачинам. Иначе говоря, на том основании, что группа рапсодических текстов до поры называлась *проίμια*, новоевропейские ученые заключают, что эти тексты не только назывались, но *были* проэмиями — имели общую жанровую природу и исторически восходили к прелюдии, а отсюда и название *проэгий*.

Однако, хотя собственное значение *προίμιον* действительно ближе всего передается как ‘запев’ или ‘зачин’ (недаром позднее, когда к поэзии добавилась проза, проэмиями стали называться все вообще вступления, так что, например, у Аристотеля в «Риторике» слово это довольно частое), под «зачином», как видно по большинству контекстов, включая приведенные, обычно понималось не отдельное (хотя бы и вспомогательное) произведение, исполняемое перед основным, а именно пролог, вступление, вводная часть — первые строки оды или поэмы, первый параграф речи, словом, некий элемент композиционного целого. И в таком значении (вернее, в таких значениях) слово *проэгий* было достаточно распространенным: скажем, у Платона о «проэмии к Аполлону», то есть о рапсодическом гимне, сказано всего один раз, зато у него же неоднократно говорится о разных других «зачинах» (вводных частях тек-

ста или рассуждения); точно так же обстоит дело в псевдоплатарховом трактате «О музыке»; только у Фукидида *проэмий* упоминается лишь однажды и лишь применительно к рапсодическому гимну, но этот автор слишком редко писал о чем бы то ни было поэтическом.

Отсюда следует, что во все века классической древности *προίμιον* было словом употребительным и не слишком многозначным, но все-таки лишенным терминологической моносемантичности: проэмиями назывались вступления к разным (поначалу поэтическим, затем любым) текстам — а до поры так же назывались рапсодические гимны, приписываемые Гомеру либо сложенные в подражание гомеровским, хотя эти гимны не были частью повествовательной или иной композиции, а многие и не могли быть частью чего-либо, потому что сами были пространными эпическими повествованиями. Подлинной проблемой для филологической науки являются, конечно, именно эпические (и самые знаменитые!) проэмии, например, большой гомеровский гимн к Аполлону или гимн к тому же Аполлону, так и не сложенный Сократом, но несомненно задуманный не в качестве вступления к «другой песне», а в качестве отдельной песни. Ничем не отменить тот очевидный факт, что в сборнике гомеровских гимнов содержатся те же два типа рапсодических гимнов, которые затем тысячу лет присутствуют в греческой литературе, то есть гимны короткие неэпические и гимны пространные эпические, называемые до поры одинаково, *проэмии*, хотя это название хорошо передает характер и назначение одних, но плохо подходит другим. Однако принадлежность коротких и длинных проэмиев к одному и тому же жанру у новоевропейских филологов сомнений, как сказано, не вызывает — отсюда и попытки толковать слово *проэмий* как древний термин, относящийся к какому-то древнему жанру рапсодической поэзии.

Однако, хотя поэтические произведения издревле делятся по «родам», носящим обобщающие названия, деление это довольно непоследовательное, так что (и тоже издревле) одинаково могут называться тексты, сходные лишь по одному или нескольким параметрам: скажем, у Аристофана и Менандра не слишком много общего в форме и в содержании, а драмы обоих числятся комедиями; элегии сначала объединялись лишь по метрическому параметру (дистиху), ямбы тоже по метрическому, а вот гимны — по прагматическому. Традиция эта сохранялась всегда и сохранилась до наших дней: характерна в этом смысле как эволюция старых названий (*элегия*, *сатира*, *баллада*), так и современные *триллеры* и *литературные сказки*, хотя нередко один и тот же текст может без обмана представляться то в качестве триллера, то в качестве литературной сказки. Если так, естественнее всего предположить, что

сначала проэмиями назывались любые рапсодические гимны независимо от объема и композиции, по двум параметрам — метрическому (гексаметр) и прагматическому (гимн). Но, в отличие от заимствованного ὕμνος, προῖμιον имеет внятную внутреннюю форму, а значит, столь же естественно предположить, что, так как коротких (пригодных для зачина) рапсодических гимнов всегда было больше, все рапсодические гимны назывались словом, подходившим если не всем, то по крайней мере почти всем, — а понять, идет ли речь о настоящем вступлении (основное значение προῖμιον) или о проэмий-гимне, все равно было невозможно без контекста, ведь название *проэмий* само по себе довольно приблизительное. С другой стороны, раз уж рапсодические гимны назывались проэмиями, к ним добавлялось обещание «другой песни», в зачине уместное, потому что *проэмий* значит ‘зачин’.

Для равнобедренных треугольников или для сульфата натрия подобная номинационная логика оказалась бы фатальной, однако для элегий, сатир и баллад она годится — годится и для проэмиев. Точно так же в свое время генсек КПСС Ю. В. Андропов, уверенный, что сонетами называются стихи про любовь, сочинил стихотворение про любовь и назвал его «Сонет», хотя ничего общего с сонетом у этого стихотворения не было, — но отсюда не следует, будто оно не имеет права на данное ему название, а займись Андропов поэзией всерьез, мог бы явиться новый тип неправильного сонета, «андроповского». Объединение в «проэмий» текстов, в чем-то сходных, а в чем-то несходных, — не самый яркий пример номинационной прихотливости, и некоторую филологическую сложность создает только то, что у проэмиев два слишком разнородных идентифицирующих признака, метрический и прагматический, а отсюда легко сделать неверное заключение, будто у них есть (или когда-то были) еще какие-то общие признаки, будто эпическая поэма в пятьсот стихов могла служить прелюдией, etc. Гораздо разумнее поступили александрийские грамматика, не уточняя понятие *проэмий* применительно к рапсодическому гимну, оставив его лишь встроенным в композиционное целое настоящим зачинам и объединив в *гимны* куда более обширную группу текстов, — зато по всем понятному прагматическому признаку, так что название *гимн* ни у кого недоумений не вызывало и не вызывает.

3. ΙΟΥΛΟΣ

В обширном собрании писем Юлиана Отступника одно, «К сообществу евреев», многими расценивается как неподлинное, хотя в корпус попало рано — его цитируют церковные историки Созомен Сала-

минский (V.22) и Сократ Схоластик (III.20), жившие лишь столетием позднее. И все-таки Ж. Биде и Ф. Кюмон в свое издание писем Юлиана 1922 года этот текст не включают, а годом позже У. Райт при издании полного собрания сочинений Юлиана хотя и публикует его под № 51, но без уверенности в подлинности¹³. В письме говорится в основном о налогах, которые император намерен облегчить, что вполне в духе этого либерального правителя, но слишком многое в языке и стиле против его авторства: Юлиан писал гладко, подчас чересчур гладко, а это послание пестрит шероховатостями и по любым меркам неуклюже.

В письме упоминается еврейский патриарх, «брат мой Иул (Ἰούλος)» — речь идет о главе еврейской общины, чья должность стала официальной не позднее второй половины II века. Изначалу в качестве титула могло использоваться также *этнарх*, греческий аналог еврейского *nasi* со времен Симеона Хасмонея (I Макк. 14: 47; 15: 1–2); этнархов упоминает и Ориген (Ad Afr. de hist. Susan. 14; De princip. IV.3), хотя титул *патриарх* он тоже употребляет. К IV веку, однако, общепринятым осталось только *патриарх* — так у классика поздней риторики Либания (бывшего с одним из патриархов в переписке), так в латинской *Historia Augusta*, в святоотеческой литературе, в Кодексе Феодосия, вообще всюду. Все патриархи принадлежали к династии Гиллелей, после разрушения Иерусалима имели резиденцию в Тивериаде, собирали с единоверцев через своих «апостолов» налоги и заметно влияли на дела в Иалестине. Но в письме патриарх назван Иулом, а династия Гиллелей использовала только четыре имени: Гиллель, Симеон, Гамалиил и Иуда, так что Ἰούλος — заведомое искажение. Райт по поводу «брата Иула» флегматично замечает, что «патриарху Гиллелю II было тогда около семидесяти лет» — однако молодой император мог величать уважаемых людей братьями независимо от их возраста, а почему Гиллель назван Иулом, этого Райт не объясняет, вероятно, подразумевая, что современным Юлиану патриархом был (как не он один полагает) Гиллель II.

Основательнее прочих проблемой занимался Менахем Штерн: целью его было доказать, что патриарх письма — действительно Гиллель II¹⁴. Для доказательства Штерн привлекает средневековую еврейскую хронологию и сравнительные показания. Хотя Гиллель II ни разу не упомянут в Талмуде, он хорошо известен позднейшей традиции как десятый патриарх династии Гиллелей, сын Иуды III, в 670 году селевкидской эры

¹³ The Works of the Emperor Julian / With an English transl. by W. C. Wright. Vol. III. Cambridge, Mass.; London, 1923, p. xxii.

¹⁴ Greek and Latin Authors on Jews and Judaism / With intro., transl. and comment. by M. Stern. Vol. II. Jerusalem, 1980, p. 563–564.

(то есть в 358–359 году н. э.) предавший огласке тайные календарные расчеты, — об этом пишет астроном XII века Авраам Бар-Хийа, опирающийся на авторитет Rav Hai Гаона¹⁵, — а так как двух патриархов одновременно не бывает, значит, Иулом назван Гиллель II (вероятно, этой же логикой руководствовался некогда Райт, имевший возможность познакомиться если не с изданиями Филиповского, то со справочником Малера). «Гиллель» пишется по-гречески ἑλλήλ (Epiphan. Panarion Haetes. XXX.4.3) и по-латыни *hellel* (Hieronym. Comment. in Esai. VIII.11), но у хорошо знакомого с еврейской традицией Оригена один раз упоминается патриарх Иулл с двумя λλ (Select. in Psalm. PG XII.1056). Вдобавок есть две еврейские надписи с именем *Иул*: в одной, латинской, упоминается *Iulus Sabinus*, и тут, наверное, просто пропущено *i*, зато в другой, греческой, и как раз из Тивериады, говорится о каком-то Иуле (Ἰουλος), который что-то «со всяческим попечением исполнил»¹⁶. Об Иулле Оригена Штерн предполагает, что, хотя при Оригене не было ни одного патриарха по имени Гиллель, речь здесь может идти о Гиллеле, сыне патриарха Гамалиила III и брате патриарха Иуды II, так как расширительное употребление титулов у Оригена встречается¹⁷. В общем, у Штерна выходит, что ἑλλήλ и Ἰουλ(λ)ος — две более или менее равноправные транслитерации одного имени, причем вторая достаточно регулярна: так передает имя «Гиллель» не только Юлиан, но и ученый Ориген и так же зовут патриарха тивериадской надписи.

Доводы Штерна неудовлетворительны. Отсылка к средневековому астрономическому трактату подразумевает, что даже если свидетельство о событии оказывается на восемьсот лет позднее события, оно заслуживает полного доверия во всех мелочах. Но Юлиан правил недолго, и при ошибке в год-другой может выйти, что старый патриарх не дожил до его правления, а погрешность в год-другой случается и при датировке куда менее давних событий. Нельзя забывать также, что подлинность письма под вопросом, и если письмо неподлинное, то сочинено позже, а тогда автор мог знать, кто был при Юлиане еврейским патриархом, но мог не знать, и второе гораздо вероятнее¹⁸ — притом, если письмо не-

¹⁵ A. Zacut. Sefer Juchassin / Ed. H. Filipowski. London, 1857, p. 122, 129; A. bar Hiyya. Sefer Ha-'ibbur / Ed. H. Filipowski. London, 1851, p. 97; E. Mahler. Handbuch der jüdischen Chronologie. Frankfurt, 1916, p. 455 sq.

¹⁶ B. Lifshitz. Donateurs et fondateurs dans les synagogues juives. Paris, 1967, № 76 (Cahiers de la Revue Biblique, 7).

¹⁷ N. R. M. de Lange. Origen and the Jews. Cambridge, 1976, p. 23 sq.

¹⁸ В 1910 году Лукас предположил, что письмо было сочинено лет через тридцать после смерти Юлиана евреем, желавшим убедить патриархов отменить взимае-

подлинное, хронология тут вообще ни при чем, зато трудно не предположить, что безвестный автор читал Оригена и признался от его учености правдоподобное имя. А главное, в любом случае возникает естественный вопрос: как вообще могла явиться идея, будто *Гиллель* способно преобразоваться в *Иул(л)*? При дальнейшей эллинизации ἑλλήλ могло получиться что-то вроде ἑλλήλος, но преобразование ε в ου, да с утратой придыхания, да с добавлением иоты, да с бесследным исчезновением слога -λη-, — откуда столько изменений? Серьезной лингвистической мотивировки тут быть не может, и попытку отождествления *Иул(л)* а с *Гиллелем* разумнее истолковать как форму непрофессиональной языковой рефлексии.

Действительно, если желать во что бы то ни стало отождествить *Иул(л)* а с патриархом династии *Гиллелей*, выбирать приходится из двух имен, потому что соотнести *Иул(л)* а с *Симеоном* или с *Гамалиилом* не в силах даже самое изошренное воображение. Из двусложных *Иуда* и *Гиллель* имя *Иуда* больше похоже на имя *Иул*, но слишком уж несходны звуки, передаваемые дельтой и лямбдой, при том что звуки, у греков и евреев общие или сходные, при эллинизации имен не менялись (скажем, имя *Моисей* во всех его вариантах начинается с μ, а имя *Давид* с δ) — значит, *Иуда* в *Иул(л)* ы тоже не годится, и остается только *Гиллель*, которого и выбирает Штерн. Правда, при более трезвом подходе «брат *Иул*» в письме «к сообществу евреев» представляется лишним доказательством того, что письмо писал не *Юлиан*, а некто, не обладавший его стилистической сноровкой, зато читавший единственный текст, в котором упомянут патриарх *Иулл*, то есть «Извлечения» Оригена. Религиозная политика *Юлиана* вообще и его сочувствие евреям в частности никаких последствий не имели, зато в качестве стилиста он ценился очень высоко, потому-то мы и располагаем сейчас собранием его сочинений, — а значит, ученики риторических школ подражали ему, как подражали прочим классикам. Подобные подражания порой попадали в корпус, где многими веками позднее, уже в эпоху текстологической критики, формировали раздел *dubia*, хотя зачастую (как в данном случае) для сомнений нет серьезного повода, качество текста говорит само

мый ими с единоверцев налог (*L. Lucas. Zur Geschichte der Juden im vierten Jahrhundert. Berlin, 1910, p. 53*), но Штерн уверен, что как раз еврейю после смерти *Юлиана* делать это было незачем, а раз так, письмо настоящее (*Stern. Op. cit., p. 510*). Тут не впервые проявляется наивность маститого исследователя, словно бы забывающего, что в классической древности писание писем от чужого лица обычно бывало не подделкой документа, а риторическим упражнением, — об этом, впрочем, забывает и *Лукас*.